

В этом году исполнилось 85 лет замечательному, известнейшему русскому писателю Юрию Васильевичу Бондареву. Его творчество составило целую эпоху в русской советской литературе. Невозможно уже представить себе историю отечественной прозы без ярких, самобытных, исключительно честных произведений писателя, таких как “Горячий снег”, “Батальоны просят огня”, “Последние залпы”, “Тишина”, “Берег”, “Выбор” и многих других. Юрий Васильевич является автором (совместно с Ю. Озеровым и О. Кургановым) сценария известной киноэпопеи “Освобождение”, зрителями которой стали более 350 миллионов человек, с огромным успехом прошедшей по экранам Советского Союза и многих стран мира. Писатель, накопивший огромный запас знаний и впечатлений о мире и о войне, на рубеже XX—XXI веков создал новую книгу — “Мгновения”, предпослав ей эпиграф: “Жизнь есть мгновение, мгновение есть жизнь”. Это книга миниатюр, небольших рассказов самого разного содержания, и предназначена она для того, чтобы “...рассказать моим современникам о нашем сложнейшем смутном времени всё или почти всё...” Удалось ли это автору — судить читателям. Мы предлагаем вниманию наших читателей выбранные места из этой книги.

ЮРИЙ БОНДАРЕВ

МГНОВЕНИЯ МИРА И ВОЙНЫ

Каждый новый день

Его взвод погиб в лесу под Веной в ночь на одиннадцатое мая. Но до того, как в ту весеннюю ночь, разорванную автоматными очередями, стало ясно, что наткнулись на засаду, он еще не знал, что покойная солнечная тишина, теплый брусчатник, воркованье голубей по утрам на карнизах, благодатные, с мягким дождичком дни в озвученных вальсами старинных городках, одурманивающий запах сирени в старинных парках — все лгало ему обещанием навсегда остановленной войны, вечной молодой радости.

Невыносимо было то, что его солдаты в ночь гибели находились на том проклятом шоссе, рядом с ним, в одной машине, и последняя мысль о спасении была, вероятно, обращена к нему, лейтенанту, а он, тяжело раненный в грудь навывлет первой же очередью, лежал в кювете, истекал кровью и ничем не мог им помочь. Ему, в общем-то, повезло, и он прожил потом еще целую жизнь, постепенно забывая подробности случившегося тогда: фамилии, лица, голоса солдат, напрасно ждавших от него помощи.

И только изредка, в светлые весенние ночи, он вспоминал ту далёкую, обманувшую его ночь — и ему становилось не по себе. Ещё горше было

оттого, что большинство людей, встреченных им после войны, не хотели помнить и понимать, что каждый новый день — это не продолжение, а начало, которого могло не быть, что каждый новый день — это вся жизнь между рождением и смертью.

Рассказ женщины

Когда я сына в армию провожала, очки черные надела, иду, думаю: если заплачу, он не увидит меня такой. Хотела, чтоб красивой он меня запомнил...

Гармошка там, парни знакомые были, прощались все, и дядя пришел, Николай Митрич, четырнадцать медалей у него за войну, и нетрезвый уже. Смотрел он, смотрел на парней, на девушек, на Ванечку-то моего и заревел, ровно ребенок. Я сына не хочу расстроить, очки у меня черные, терплю, говорю ему: “Ты на дядьку не смотри, пьющий он, слезы-то пустил. Ты в Советскую Армию идешь, я тебе посылочку пришлю, денежек, ты внимания не обращай...”

А он — дерг мешок-то и пошел, отворачивается от меня, чтобы нервы не показать, расстройство свое. И не поцеловал даже, чтоб чего не случилось. Так и проводила я Ванечку... По десяточке ему посылаю...

А красивый он у меня, девушки ему перчатки дарили. Приходит однажды, говорит: “Вот перчатки Лидка дала, заплатить ей, мама, или как?” — “А ты, — говорю, — ей тоже чего подари, и хорошо будет”.

Токарем он работал, да стружка в глаз попала, потом в шофёры пошёл, да машинные ворота какие-то своротил, отчаянный и глухой был, а тут — в армию. Солдат он сурьёзный, сейчас на посту стоит. В письме пишет: “На посту стою, мама”.

Пыль

Уже месяц была жара, воздух над училищным двором раскалился так, что ощущался всем телом сквозь потную гимнастерку, — сухая, нестерпимо банная духота скапливалась над пропеченным гравийным плацем. Иногда за окнами, замутняя сверкающие в солнечном зное тополя, вставала серая длинная стена — вдоль улицы ползла поднятая военными машинами пыль и долго переваливалась через заборы, не оседала. Курсанты, загорелые до черноты, пропыленные (все время хрустело на зубах), ничего не ели, хотелось только пить — готовились к экзаменам в классе артиллерии и поминутно бегали в умывальную, неутоленно глотали теплую, пахнущую жестью воду из кранов. В классе же стучалась горячая неподвижность дня; помкомвзвода лениво стучал мелом по доске, рисовал схемы огня, смятым носовым платком вытирая пот с красной шеи; темные пятна выступили под мышками, расплываясь полукружьями на выгоревшей гимнастерке, а мальчишеские лица курсантов блестели потом, казались отупело-сонными.

И это давнее ощущение знойного лета я испытал сейчас снова, когда по непонятной связи вспомнил вдруг незнакомую красивую женщину, которая стояла тогда возле проходной училища, разговаривала с веселым светловолосым офицером в белом кителе и, морщась, нежно улыбалась ему и загоразживала его раскрытым летним зонтиком от накаленной пыли.

Этот молодой офицер командовал нашей батареей. Через неделю мы были направлены под Сталинград, и я больше не видел его в живых...

Кто она была ему? Жена? Невеста? Сестра? И помнила ли она тот миг, когда хотела зонтиком защитить и его и себя от огненной пыли?..

Атака

— Что такое атака, спрашиваешь? А ты вот послушай. Как раз перед нами шоссе Москва — Воронеж проходило, а мы за шоссе на Студенческой улице окопались. Атаковать надо было так: через шоссе броском переско-

чить, дальше ложбину перебежать, за ней на гору взобраться, а на горе врытые немецкие самоходки и танки в упор бьют по шоссе, нам снизу их стволы видать. Ну а за горкой кирпичный завод, который взят приказано. Там крепенько немцы сидят, кинжальным огнем шоссе простреливают, не то что головы, палец не высунешь — рубит насмерть. Но комбату это не причина, ему одно: взять завод — и точка, никаких рассуждений. Молоденького младшего лейтенанта нашего, москвича, как помню, в первую минуту убило, когда по сигналу атаки шоссе начали перебегать, и по этому случаю роту я на себя принял — больше некому. А атака в полный день была — солнце яркое, все вокруг почище, чем в бинокль, видно. Как только мы через шоссе перескочили, самоходки в упор такой огонь стали бешеный давать, что день в ночь превратился — дым, разрывы, стоны, крики раненых. Понял: в лоб завод не возьмем, на самоходки дуроломом попрешь — всем братская могила. Самоходки дыбят землю огнем, а я кричу: “За мной, братва, так-перетак! Влево давай! По ложбине, по оврагу, в обход горы, иначе всем похоронки!” И — как угадал в этом соображении. Повезло. Судьба улыбнулась. Вывел остаток роты в овраг слева от завода. А в овраге железный хлам какой-то, железный мусор, хрен знает что. Рвемся, без голоса орем чего-то, задыхаемся, бежим по железному хламу, как сквозь колочую проволоку, того и гляди глаза к дьяволам повыколем. А завод — вот он, на горе виден, метров сто пятьдесят. Уже как черти в аду хрипим, в гору почти на карачках лезем, обмундирование на нас о проволоку, об железо в клочья вкось и поперёк разодрано, и всё-таки ворвались в завод с тылу, можно сказать. Помню: пылица в каком-то цехе, спереди немцы из пистолетов по атакующим нашим ребятам режут. Разом ударили мы по ним, вбежали в эту пылицу. Бегу, точно бы вконец обезумелый, строчу из автомата по пулемётчику, вижу вспышки в пыли, кричу что-то вроде “вперёд” и вроде трёхэтажного мата, сам не соображаю что. И тут накрыло темнотой меня, будто на голову крыша обвалилась... Очнулся в медсанбате, лежу и чувствую: никак живой, тело, руки, ноги при мне, на глазах — повязка. Хочу сдёрнуть её, а мне говорят: погоди, мол, конгузило тебя и глаза песком засыпало после снарядного разрыва, мол, не волнуйся. Волнуйся, не волнуйся, месячишко поремонтировали — и опять “вперёд!..”

Вечная женственность

Мы ждали своих ребят из поиска.

Никогда не забуду ее тонкое лицо, склоненное над рацией, и тот блиндаж начальника штаба дивизиона, озаренный двумя керосиновыми лампами, бурно kloкочущим пламенем из раскрытой дверцы железной печки: по блиндажу, чудилось, ходили тёплые волны домашнего покоя, обжитого на короткий срок. Вверху, над накатами, — звезды, тишина, вымерзшее пространство декабрьской ночи, ни одного выстрела, везде извечная успокоенность сонного человеческого часа. А здесь, под накатами, лежали мы на нарах, и, засыпая, сквозь дремотную паутинку, я с мучительным наслаждением видел какое-то белое сияние вокруг ее коротко подстриженных, по-детски золотистых волос.

Они, разведчики, вернулись на рассвете, когда все в блиндаже уже спали, обогретые печью, успокоенные затишьем. Вдруг звонко и резко заскрипел снег в траншее, раздался за дверью всполошенный оклик часового, послышались голоса, смех, хлопанье рукавицами.

Когда в блиндаж вместе с морозным паром весело ввалились, затопали валенками двое рослых разведчиков, с накалённо-багровыми лицами, с густо заиндевельными бровями, обдав студеным холодом маскхалатов, когда ввели трех немцев-“языков” в зимних каскетках с меховыми наушниками, в седьх от инея длинных шинелях, когда сонный блиндаж шумно заполнился топотом ног, шуршанием мерзлой одежды, дыханием людей, наших и пленных, одинаково прозябших в пространстве декабрьских полей, я увидел, как она, радистка Верочка, медленно, будто в оцепеневающем ужасе, встала возле своей рации, опираясь рукой на снарядный ящик, увидел, как один из плен-

ных, высокий, красивый, оскалив в заискивающей улыбке молодые чистые зубы, поднял и опустил плечи, поежился, вроде бы желая погреться в тепле, и тогда Верочка странно дрогнула лицом, светлые волосы от резкого движения головы мотнулись над сдвинутыми бровями и, бледнея, кусая губы, она шагнула к пленным, как в обморочной замедленности расстегивая на боку маленькую кобуру трофейного “вальтера”.

Потом немцы закричали заячьими голосами, и тот, высокий, инстинктивно защищаясь, суматошно откатнулся с широко разъятыми предсмертным страхом глазами.

И тут же она, страдальчески прищурясь, выстрелила и, вся дрожа, запрокинув голову, упала на земляной пол блиндажа, стала кататься по земле, истерически плача, дергаясь, вскрикивая, обеими руками охватив горло, точно в удущье.

До этой ночи мы все безуспешно добивались ее любви.

Тоненькая, синеглазая, она предстала в тот миг перед нами совсем в другом облике, беспощадно разрушающем прежнее — нечто слабое, загадочное в ней, что на войне так влечет всегда мужчину к женщине.

Пленного немца она ранила смертельно. Он умер в госпитале. Но после того наша общая влюбленность мальчишек сменилась чувством безгневной жалости, и мне казалось, что немисливо теперь представить, как можно было (даже в воображении) целовать эту обманчиво непорочную Верочку, на наших глазах сделавшую то, что не дано природой женщине.

Никто не знал, что в сорок втором году в окружении под Харьковом она попала в плен, ее изнасиловали четверо немецких солдат, надругались над ней — и отпустили, унижительно подарив свободу.

Ненавистью и мщением она утверждала справедливость, а мы, в той священной войне убивавшие с чистой совестью, не смогли простить ее за то, что выстрелом в немца она убила в себе наивную слабость, нежность и чистоту, этот идеал женственности, который так нужен был нам тогда.

Талант и слава

Бывает, что в литературе подолгу живут книги несуетливого писателя, однако нет у него ни громкого имени, ни славы.

Бывает, что есть и слава и имя, но нет таланта в трудах знаменитости — солидная, так сказать, денежная купюра, не обеспеченная золотым запасом.

В период “массовой культуры” чрезвычайно редко встречается писатель счастливого соединения имени и таланта, таланта и славы, заслуженной книгами.

Он вернулся на Родину

Я люблю французскую литературу XIX века за ее глубину, разнообразие, яркость, но не люблю манерное парижское острословие и остатки былой куртуазности в письме рафинированных интеллектуалов. Английская литература прошлого столетия интересна мне потому, что в лучших своих романах она разрушает британскую традиционную чопорность, клубную условность языка, призывая не легковесную, а горькую иронию; испанская учтивость в корне подточена фольклором и мифом маркесовского толка, а американская напористая бесцеремонность в какой-то мере сдержана серьезностью Эдгара По и Томаса Вулфа.

Русская широта, мечтательность и безалаберность, идущие ещё от старых сказок, до сих пор присутствуют в нашей литературе, пережившей в свой золотой век чрезвычайные преобразования нравственной философии, духовностью и человечностью поднявшись на такие высоты, где земное соединяется с небесным.

Иван Бунин — один из столпов мировой литературы. И все же он стоит особняком, так как более русского, влюбленного в Россию писателя трудно

назвать в кругу его современников. Проза и поэзия Бунина — это не полемика с самим собой, не расчеты с человечеством, не расследование его преступлений и в конце концов, не сама жестокая действительность (по Достоевскому), а поднебесная метафора действительности, метафора любви, молодости, несбывшихся надежд. Это как бы непрерываемое движение против течения реки — от устья к истокам, от самого себя к родной и ставшей далекой российской земле, без которой не было бы ни художественного чародейства Бунина, ни его превосходных, написанных в эмиграции рассказов, этих непревзойдённых шедевров, ни “Жизни Арсеньева” с его тоской по утраченной России, ни “Деревни” с его пронзительным пониманием мужика, ни “Митиной любви” с его печалью по юности, ни его сердитой публицистики, в которой он не признавал и осуждал исторический пожар в России, разгоревшийся потому, что была сделана попытка изменить и улучшить человеческую природу через революцию, стоившую большой крови.

Не только в годы, когда Бунин не доходил до нас, но и сегодня снобы от искусства повторяют фразу одного из злобных теоретиков тридцатых годов, назвавших бесподобного художника холодным мастером, лишенным идей и большой мысли. Защищать Бунина адвокатскими опровержениями, с упованием на победное торжество истины, — униительно для русской литературы, которая не нуждается в оправданиях. Хорошо известно, какое несметное количество нелепостей, пошлости, оскорбительных оценок было высказано критиками за два столетия, к примеру, о Достоевском, Некрасове, Лескове, Чехове, Блоке, Михаиле Булгакове. Нет ни одного крупного писателя на Руси, у которого не было бы одержимо нацеленных ниспровергателей. После выхода “Казаков” Толстого обвиняли в незнании народной жизни, о Есенине писали, что он бездарен, о Шолохове, что “Тихий Дон” — заимствование.

Скрывая истинную цель, озлобленная критика придумывала себе идейную роль революционного борца, и тогда исчезала реальность истины, появлялись кривляющиеся маски. Большому художнику, родившемуся в России, эти маски не могут простить два порока — талант и успех у народа. Но какой бы казни недругов русской словесности художник не был бы подвергнут, его возвращает читателю время, неподвластное никому и ничему!

Так было с Шолоховым, так было с Буниным. Он вернулся на родину свою триумфатором. Его талант и искусство принадлежат всем временам, но в первую очередь нам, России.

Из рассказов сведущего человека

В дни физического и душевного переутомления он захотел увидеть священника, отца Григория, у которого учился в семинарии.

Уединенно живущего в монастыре старика нашли и привезли к нему, растерянного, не понимающего, зачем он потребовался всемогущему человеку, слава и власть которого вызывали и восторг и страх. Сталин поздоровался кивком, со спокойным любопытством долго рассматривал своего бывшего учителя, седого до снежной белизны, согбенного, оробело осеняющего себя крестным знаменем, и после молчания спросил:

— Что, отец Григорий, боишься? Почему боишься?

— Ты очень велик, — ответил тихо отец Григорий и смиренно поклонился.

— Его не боишься, — усмехнувшись, Сталин показал на потолок, — а меня боишься? Если так, значит, Бога нет?

— Есть Бог.

— И есть бессмертие?

— И бессмертие души...

— Про то не знаю.

Сталин немного подумал, походил по кабинету.

— Правильно. Искренно. Про то, как ты сказал, знают только на небесах. Если не будет возражений, отец, я хотел бы с тобой поговорить именно о Боге. Возможен такой разговор между нами?

И вот только через много лет я постарался по памяти записать то, что рассказал мне отец Григорий незадолго до смерти в монастыре во время моих поездок по Грузии. Произошел между ними такой приблизительно разговор:

— Скажи, отец, что есть смысл жизни?

— Добро. Сама жизнь, Иосиф... данная нам Богом.

— Почему ты меня назвал Иосифом?

— Ты был моим учеником. Это не должно тебя унижать.

— Я постоянный Его ученик. — Сталин глазами показал на потолок. — Только нерадивый ученик. Значит, смысл жизни — сама жизнь? Почти так думали Гете и Толстой. Ты читал их?

— Нет. Я читаю Священное Писание...

— Ты сказал “добро”. Так, отец? Сюда ты, конечно, включаешь веру, любовь, истину... и что еще? Непротивление?

— Милосердие, Иосиф. И... непротивление.

— Тогда что есть революция? Зло? Насилие? Противоположность добра? Или несчастье? Что, ответь, отец, это не вопрос, а откровенный разговор с учеником.

— Не гневайся, Иосиф. Революция — это тропа к счастью через насилие. Дорога к благоденствию — божественное время в бесконечном пути, как путь Иисуса Христа к людям. Короткий путь — кровь, страдания...

— Время, говоришь, отец? Ты, наверно, не согласен, что это неприятное путешествие по кругу вечности. Смертный не знает, что есть сама жизнь, поэтому не верит в смерть. Жизнь терпима, если нравственные законы человека согласны с нравственными максимами общества. Если нет, жизнь по кругу становится мукой. Нужна ли людям бесконечная мука?

— Господь наш призывает к терпению, Иосиф.

— К сожалению, зло разделяет небо и землю. А терпение — сон разума. Силы зла, страха и насилия двигают историю в конце концов через революцию и насилие к добру. Таким образом — зло есть добро. Это диалектика. Не так ли, отец?

— Не гневайся, Иосиф, ради Христа. Революция — это обман разума. Томление духа. Суета сует — тщета.

— Значит, и жизнь — тщета? И добро — тщета? Тогда скажи — что есть смерть? Конец всех начал? Цифра? Перемена декораций, как писал Лев Толстой? Или — ничто? Ответь, отец Григорий, что есть смерть?

— Успение... Смерть не есть уничтожение нашей жизни, а переход от земли на небо, от тления к вечному бессмертию. Я думаю, Иосиф, ты возделеешь бессмертие. Но ты смертен, и вместе с тобой уйдет твоя несокрушимая власть. Бессмертна только твоя душа. Перед Господом.

— Душа, душа... Жаль. Бестелесная душа перед Богом. Жаль. Я не пойму такого блаженства.

— Ты уж будешь не ты.

— И этого жаль. Только в борьбе я понимаю, что такое жизнь.

— Помоги тебе Господи и прости Господи тебе твою безустанную борьбу. Разреши я перекрещу тебя?

— Перекрести, отец Григорий, меня грешного, чтобы я остался, каким был. Другой я — вне моего понимания.

— Да благословит тебя Господь обильным благословением, ибо Бог не есть Бог неустройства, но мира.

В сумерки

В послезакатный час я остановился на краю поля; впереди майское небо широко светлело на западе и угасало за высокой железнодорожной насыпью. Там, вычерченные черным по сиреневому, застыли над землей товарные составы. А здесь, в поле, скрипуче кричал коростель, скапливались сумерки, и передо мной неясно блеснуло что-то, будто зеркало скользнуло сбоку. Я всмотрелся в прошлогоднюю стерню и увидел узкую лужицу, всю наполненную тишиной, всю зачарованно стекленеющую в отсвете предвечер-

него неба, Такую древнюю в своей естественности, такую первобытно безмятежную, что каждый стебелек стерни подробно отражался в воде вместе с изогнутой ниточкой кротко рождающегося в зеленом небе месяца.

И в воздухе потянуло травянистым запахом вечеряющей степи, совсем мною забытым уже, и от проселка вдоль поля тоже запахло прибитой колесами тепловатой пылью, полынной горьковатостью, как пахнет деревенский проселок при подъеме из низины в пору сумерек.

И эта лужица с ее тишиной, с недвижным отражением стеблинок в свете заката, с рождением месяца в ее розовой колыбели вернули меня на несколько секунд к самому себе, в край детства, дальний, счастливый, чего я никогда не испытывал вдали от дома при виде грозной стихии мировых океанов.

Молитва

...И если на то будет Воля Твоя, то оставь меня на некоторое время в этой моей скромной и, конечно, грешной жизни, потому что в родной моей России я узнал много печали её, но ещё не узнал до конца земную красоту, таинственность её, чудо её и прелесть.

Но дано ли будет это познание несовершенному разуму?

